

ми исключениями, западный либерализм не воспринимался как целостная система, не осознавался во взаимосвязи и взаимообусловленности его основных элементов, одни и те же черты западной цивилизации рассматривались то как ориентиры, то как предостережения.

Монография Репинецкого содержит оригинальную концепцию эволюции либеральной программы реформ в 1850-е гг. Автор убедительно доказывает, что в этот период в России сложилась общественная группа, придерживавшаяся и проповедовавшая довольно стройную и последовательную либеральную идеологию. Одновременно ему удалось выявить амплитуду расхождений во мнениях представителей российской либеральной общечеловечности практически по всем волновавшим их вопросам. При работе с источниками автор умело использовал методы контент-анализа, статистического анализа, компьютерного моделирования.

Дискуссионным представляется утверждение, будто «представителей т.н. “либеральной бюрократии”, пресекавших претензии зарождающегося гражданского общества и существенно ограничивавших индивидуализм, нельзя считать либералами». В книге не указан критерий, позволяющий определить, какими именно границами ответственности мыслитель, а тем более – государственный деятель должен наделять гражданское общество, чтобы считаться собственно либералом, а не просто «этатистом-реформистом». Ведь «безразмерным» гражданское общество, как

и любой социальный феномен, быть не может. Либерализму, как отмечает исследователь, в своей истории «регулярно приходилось сталкиваться с вопросом, насколько возможно отступление от базовых принципов свободы и равенства ради защиты и продвижения их самих». Более того, он признает, что либералы существенно расходились и «в мере дозволенной гласности». Но если даже признанные автором либералы не выработали здесь единой позиции, то отсутствие ее у правительственных чиновников не может являться основанием для их исключения из рядов либеральной общечеловечности. Позицию «сдерживания» гражданского общества можно интерпретировать и как «тактическое» разногласие относительно оптимальной скорости планируемых преобразований. В целом, анализ данной проблематики достоин более пристального внимания и вполне может стать темой следующей монографии С.А. Репинецкого.

Рецензируемый труд является концептуально цельной, фундаментальной работой, в которой представлен комплексный подход к проблеме формирования российского либерализма, предложена палитра оригинальных научно обоснованных суждений и выводов о тенденциях, основных направлениях и характере развития либеральной идеологии в 1856–1860 гг.

С.В. Любичанковский,
доктор исторических наук
(Оренбургский государственный
педагогический университет)

Таврические чтения 2009. Актуальные проблемы парламентаризма в России (1906–1917 гг.). Международная научная конференция, Санкт-Петербург, Таврический дворец, 4 декабря 2009 г. Сборник научных статей / Под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2010. 366 с.

Музей истории парламентаризма в России при Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, находящийся в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, с 2007 г. ежегодно организует научно-практические конференции, посвященные отечественным парламентарным традициям. Прошедшая 4 декабря 2009 г. международная конференция «Три века под сенью Таврического дворца: политика, дипломатия, литература, искусство» была приурочена к 220-летию Таврического дворца. В рецензируемый сборник вошли 16 статей, написанных на основе докладов, сделанных на заседаниях двух из семи ее секций («История парламентаризма в России: Государственная дума, самодержавие и революция» и «Думская биографика»).

Центральное место в сборнике занимает статья С.В. Куликова «Народное представительство Российской империи (1906–1917 гг.) в контексте мирового конституционализма начала XX века: сравнительный анализ», объем которой составляет около ста страниц (более четверти всей книги). Констатируя наличие в историографии диаметрально противоположных оценок «полноценности» дореволюционной Думы как народного представительства и степени ее соответствия «современной ей мировой конституционной традиции» (с. 11), автор статьи ставит вопрос не только о параметрах такого сравнения (порядок формирования личного состава парламента, правовой статус депутатов, число палат, внутренний распорядок их деятельности, законодательные и бюд-

жетные права, ответственность правительства перед представительным органом), но и о его задачах. Куликов считает, что выборы в Думу как до 3 июня 1907 г., так и после проходили на основе всеобщего избирательного права, как его понимали в мировой практике начала XX в. Тогда оно, как правило, не распространялось на женщин, реально охватывая 20–30% населения. Хотя и «в области политического освобождения женщин Россия также шла впереди цивилизованного мира», поскольку они получили политические права в Великом княжестве Финляндском, а на российских выборах могли передавать свой имущественный ценз мужьям или сыновьям (с. 16–20). Автор напоминает, что и в Западной Европе в то время еще сохранялись многочисленные цензы, ограничивавшие избирательные права в зависимости от материальной обеспеченности, оседлости, возраста, а нередко и по национальному признаку (с. 21). Равенство голосов в тех странах, где оно уже было провозглашено, благодаря «выборной геометрии» оставалось лишь формальностью, а порядок выборов сильно зависел от правительственного давления (с. 24–28). В России система голосования также предполагала неравные и многоступенчатые выборы. По мнению Н.И. Лазаревского, российская система выборов имела все недостатки, связанные с всеобщим избирательным правом, которое распространялось на неграмотных, но не имела соответствующих преимуществ, поскольку отличалась ярко выраженным неравенством голосов. «Наше законодательство о выборах в Гос. Думу необыкновенно сложно, — писал он. — Это, может быть, самая запутанная и несовершенная система выборов, которая когда-либо существовала»¹. Отличительной особенностью России было сочетание сословного, имущественного и национального цензов, каждый из которых был очень высок и провоцировал как недовольство, так и абсентеизм.

Касаясь порядка формирования Государственного совета, Куликов приходит к выводу, что он «являлся самой демократической верхней палатой сравнительно с верхними палатами большинства монархий» своего времени (с. 31). Это вытекало как из соотношения числа назначаемых и выборных членов палаты, так и из социального статуса последних. Однако вряд ли стоит ставить в заслугу государственной власти то, что скорее являлось лишь неизбежным признанием слабости социально-политических позиций аристократии.

Как справедливо указывает автор статьи, в России существовала и реализовалась широкая законодательная инициатива парламента, в то время как монарх не внес непосредственно ни одного законопроекта, а отклонил только два

(с. 68–69, 77–78). Признавая нарушение прав парламента 3 июня 1907 г., Куликов вслед за умеренными правыми и октябристами считает эту меру направленной на упрочение представительного строя (с. 43). Характерно, что полномочия парламента в России, в отличие от стран Запада и Японии, частично распространялись на оборонную и церковную сферы (с. 46–53). В запросной практике Дума была очень активна, отстаивая лишь от палат Франции и Италии (с. 95). Как и на Западе, депутаты Думы и избранные члены Совета не были ответственны перед избирателями (с. 31–33). И хотя они не имели иммунитета, власть привлекала их к суду крайне редко (с. 33–34). В то же время формально отсутствовавшая судебная ответственность министров перед парламентом была, по мнению Куликова, фактически установлена в 1915 г. (с. 96–98). Происходил также процесс постепенного установления политической ответственности министров перед Думой, поскольку более половины министров в последние годы существования монархии назначались из числа членов палат (с. 106–107). В итоге Куликов утверждает, что Дума и Совет были «наиболее полноценными по сравнению с современными им законодательными учреждениями европейских монархий начала XX в.» (с. 109). Но даже если бы столь категоричный вывод соответствовал действительности, едва ли это имело большое значение, поскольку низкий уровень благосостояния и грамотности населения, слабые традиции самоуправления, ускоренная экономическая трансформация и связанный с этим рост социальных проблем, а также ярко выраженная полиэтничность отнюдь не способствовали развитию парламентарной культуры. Между тем верховная власть не имела в России столь прочной бюрократической и аристократической опоры, как, например, в Германии и Японии, а политическая система после 1906 г. фактически была менее централизованной. Но так или иначе значение парламента в политической жизни России потенциально и неформально было, безусловно, велико, и он мог претендовать на большую власть, особенно в ситуации кризиса.

Ряд статей сборника посвящен законотворчеству Государственной думы и проблеме его реализации. В.А. Нардова показывает неспособность оппозиционных «крыльев» III Думы провести свои проекты изменения городского избирательного закона. К сожалению, в статье не сравниваются разработки различных партий (правых и националистов, кадетов, трудовиков, социал-демократов), что позволило бы хоть отчасти прояснить причины того, почему они не могли пройти через Думу. В.Н. Гинев сравнивает планы создания всеобщей волости,

составлявшиеся в 1911–1917 гг., пытаясь доказать, что после Февральской революции новые органы самоуправления должны были вытеснить советы с политического поля (с. 159). Но почему же тогда при всей демократичности новых законов этого не произошло? Ответа на этот вопрос автор не дал, констатировав лишь невозможность осуществить ни умеренный дореволюционный, ни радикальный вариант, подготовленный уже Временным правительством. Очевидно, принципы, положенные в их основание, были менее реалистичны, чем те, на основе которых формировались советы. В.В. Ведерников раскрывает слабость и политизированность кадетской аграрной программы, предполагавшей передачу земли крестьянам преимущественно во владение, а не в собственность (причем в общественное, а не личное). На примере деятельности М.Я. Герценштейна в I Государственной думе и полемики по аграрному вопросу показаны противоречия между личными и партийными взглядами, жизненными реалиями и политическими целями.

Б.Д. Гальперина анализирует взаимоотношения власти и оппозиции при решении «продовольственного вопроса» в 1916 – феврале 1917 г. При этом она обращает внимание на то, что, сосредоточившись на борьбе с властью, думцы не смогли наметить практические меры, позволяющие обеспечить население продовольствием. А.Б. Николаев пришел к выводу, что «помощь жертвам революции» со стороны Думы в 1917 г. уступала даже усилиям Петроградского совета. Средства, полученные Думой в качестве пожертвований, не были израсходованы и на одну треть (с. 238). Немало интересного и ценного содержится также в статьях В.Г. Афанасьева и Т.В. Плюхиной, В.Н. Баталина, А.В. Костылева, М.О. Мельцина, В.И. Мусаева, Т.Г. Фруменковой, Р.Р. Шигабулдинова.

В статье Р.А. Циунчука сделана попытка классификации национальных фракций и групп Государственной думы, включая «этносословные» и «региональные» (казаки, сибиряки) (с. 112). Что такое «этносословная» группа и какое отношение к этому имело казачество, автор не объясняет. Тем не менее, казаки почему-то включаются им в состав «нерусских народов» (с. 113), хотя их группа, как следует из статьи, не имела какой бы то ни было особой национальной программы (с. 121). Белорусов и украинцев автор, вопреки представлениям начала XX в., считает национальными меньшинствами. Между тем в своем подавляющем большинстве депутаты от губерний Западного края не только не входили в «национальные группы», но, наоборот, в IV Думе составляли большинство (!) фракции русских национа-

листов (с. 123, 125). Разумеется, это трудно согласовать с утверждением автора о том, что суть партийного курса русских националистов состояла в сохранении «привилегированного положения великороссов» (с. 113). Любопытно, что в другой статье этого же сборника справедливо сказано, что никакой «борьбы за Белоруссию» в дореволюционных Думах не наблюдалось (с. 254). А.А. Иванов, проследившая родословную В.М. Пуришкевича – яркого представителя правых, в жилах которого «текла малороссийская, польская, а возможно, что еще белорусская и молдаванская кровь» (чем он постоянно бравировал), отмечает, что депутат считал себя русским в силу родного языка, религиозно-культурной самоидентификации, а также приверженности самодержавию (с. 325).

Финляндская исследовательница М.В. Витухновская-Кауппала рассмотрела дискуссии в III Думе относительно политического и культурного будущего Финляндии и Польши. Впрочем, общий вывод автора о росте «взаимной отчужденности элит», завершившемся «развалом Империи после октября 1917 года» (с. 141), далеко выходит за рамки изложенного в статье материала. Ведь, размышляя о причинах «развала», нельзя не учитывать отторжение Польши летом 1915 г. и политические процессы в Финляндии накануне и в ходе Первой мировой войны. Спорными представляются и утверждения (со ссылкой на А. Каппелера) о том, что к началу XX в. более половины населения Российской империи составляли нерусские народы, а Сибирь являлась «национальной» окраиной (с. 129–131). Следовало бы также точнее определить, что представлял собой «налаженный строй» Финляндии (с. 139) с учетом перманентного парламентского кризиса в Великом княжестве? О влиянии национальных мифов на современную науку позволяет судить статья А.Д. Гронского, изучившего эволюцию некоторых стереотипов в белорусской историографии. На примере нескольких монографий Н.М. Забавского и других авторов он выявляет постепенное, но последовательное и безболезненное, превращение советских идеологических клише в националистические при сохранении устойчивого неприятия и жесткой критики «великорусского шовинизма».

Ф.А. Гайда,
кандидат исторических наук
(Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова)

Примечание

¹ Лазаревский Н.И. Русское государственное право. СПб., 1913. С. 482.